ДВУХМУЖНЯЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1925

М. ШОЛОХОВ

ДВУХМУЖНЯЯ

РАССКАЗ

под редакцией
Ф. БЕРЕЗОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА - ПЯТНИЦКАЯ. 71
Главлит № 43347.
Гиз № 14081. Тир. 35.000.



ДВУХМУЖНЯЯ.

(Рассказ).

На бугре, за реденьким частоколом телеграфных столбов, сутулятся леса щетинистыми хребтинами: качаловские, агаманские, рогожинские. Вдоль лесов тянется суходолый, заросший мохнатым терном, овраг; упирается он в поселок Качаловку, а низкорослые домишки поселка подползают чуть не вплотную к постройкам качаловского коллектива.

Парной апрельский день. Под солнечным пригревом земля, вспухшая от дождей, пахнет сыростью. В поле, посереди рыхлой пахоты, стоит Арсений Клюкин — председатель коллектива.

Ветер полощет на нем неподпоясанную рубаху и сушит на лбу бисерный пот. Рядом с Арсением — дед Артем из-под шер-

шавой ладони смотрит, как трактор кромсает черноземную целину глянцевитыми ломтями. С утра вымахал он четыре десятины. Нынче первая проба. От радости у Арсения в горле смолистая сушь; проводил взглядом до конца загона горбатую спину трактора, облизывая обветренные губы, сказал:

— Во, дед Артем, машина!..

А дед, кряхтя и стоная, заспотыкался по лохматой борозде; на ходу зажал в коричневый узловатый кулак ком жирной земли, растер на ладони и, обернувшись к Арсению, кинул на землю шапчонку, пережеванную лемешами, и вскрикнул плачущим голосом:

— Обидно мне до крайности! Пятьдесят годов я на быка, а бык на меня работал... День пашешь, ночь — кормишь его, сну не видишь... Опять же в зиму худобу годуешь... А теперь как мне возможно это переносить?..

Указал дед кнутовищем на трактор, рукой махнул горько и, нахлобучив шапку, пошел не оглядываясь.

Ушло за курган на ночь солнце. Сумерки весенние торопливо закутали степь. Слез с трактора машинист, рукавом размазал по щекам белесую пыль.

— Ужинать пора! Иди домой, Арсений Андреевич, теперь бабы коров подоили, парного молока принесешь.

По низкорослой поросли озимой идет Арсений к жилью. Из балки на пригорок

стал подниматься — услышал скрип арбы, бабий слезливый голос:

— Цоб, проклятые!.. И што я с вами буду делать, с нечистыми?.. Цо-об!.

Около дороги, на суглинке, взмокшем от вечерней росы, стоят быки, запряженные в арбу. Пар над потными бычьими спинами. Вокруг бабенка попрыгивает, кнутом беспомощно махает. Поравнялся Арсений.

— Здорово живешь, молодка!

— Слава богу, Арсений Андревич!

Жаркой радостью хлестнуло Арсения; колени дрогнули.

— Никак это ты, Анна?

— Я и есть. Замучилась вот с быками; никак не везут!.. Чистое горе!..

— Откель едешь?

— С мельницы. Нагрузили рожь, а быки не стронут с места.

Плевое дело Арсению поддевку с плеч смахнуть. На руки бабе кинул, смеется:

— Подсоблю выехать, магарыч будет?

А сам норовит в глаза заглянуть бабе. Баба в сторону их отводит, платок надвигает.

— Помоги за ради бога... Сочтемся!..

Двадцать седьмой год Арсению и силенка имеется. Шесть мешков вынес на пригорок. Потный спустился в балку. Присел на арбу. Дух переводит.

— Ну, как про мужа — не слыхать?

— Слыхать... Вернулись казаки из-за моря, от Врангеля... гуторили, што помер в Туречине...

— Как же жить думаешь?

— А все так же... Ну, надо ехать; и так припозднилась. Спасибо за помочь, Арсений Андревич!

— Из спасиба шубы не выкроишь...

Улыбка примерзла на губах у Арсения; минуту молчал, потом, перегнувшись, левой рукой крепко захватил голову в белом платке. Прижался губами к дрогнувшим губам. Но щеку до стыда, до боли, обожгла рука в колючих мозолях. Вырвалась Анна, оправляя скособочившийся платок, захлебнулась плачущим визгом:

— Стыда на тебе нету, паскудник!

— Ну, чего орешь-то? — спросил Арсений, понижая голос.

— Тово, што мужняя я! Зазорно! Другую сыщи на это!..

Дернула Анна быков за ярмо, крикнула от дороги, а в голосе слезы.

— Все вы, кобели, одним и дышите!.. Да ну, цоб же, проклятые!..

Обневестились сады, зацвели цветом молочно-розовым, пьяным. В качаловском пруду, возле ржавых и скользких коряг, хмельными ночами — лягушечьи хороводы, гусиный шепот любовный, да туман от воды. И дни погожие и радость солнечная у

председателя качаловского коллектива; у Арсения. И все оттого, что земля не захолостеет попусту (трактор есть). А вот ущемила сердце одна сухота и житья нету...

На третьи сутки встал Арсений раньше кочетов, вышел к ветряку на прогон и сел возле скрипучего причала. Пусть на завтра судачат бабы, пусть ребята из коллектива будут подмигивать на него ехидно, пусть смеются за глаза и в глаза; лишь бы увидать ее, лишь бы сказать про то, что не милы ему и работа и свет белый. И все с тех пор, как осенью, во время молотьбы, вместе с нею на скирду вилами бугрили чернобылый ячмень.

Издалека заприметил белую косынку.

— Здравствуй, Анна Сергевна!

— Здравствуйте, Арсений Андревич!

— Сказать тебе хочу словцов несколько.

Анна отвернулась, завеску сердито скомкала.

— Хучь бы людей-то посовестился!.. Каки-таки разговоры на прогоне?.. Перед бабами срамотно!..

— Дай сказать-то?..

— Некогда: корова в кукурузу зайдет!..

— Погоди!.. Просить буду, как смеркнется, приди к ольхам, дело есть...

Вобрала в плечи голову Анна, пошла не оглядываясь. Возле обнявшихся ольх буйная ежевика треножит кусты; возле ольх,

по ночам перепелиные токи и туман по траве кудреватые стёжки вывязывает.

Ждал Арсений до темна. А когда с горы зашуршала глина, осыпаясь под чьими-то воровскими шагами, Арсений почузствовал, как холодеют пальцы и липкой испариной мокнет лоб.

— Обидел я тебя тогда? Брось, не серчай, Анна!

— Привыкла я к этому без мужа-то...

— Ну, а теперь дело хочу сказать... Живешь ты вдовой, свекору не нужна... Может, замуж за меня пойдешь? Жалеть буду... Ну, вот, чудная, чего же ты хнычешь? Беда с вами, бабами! Ежели нащет мужа сумлеваешься... на случай коли придет... приневоливать не стану... К нему уйдешь, коли захочешь...

Села рядом на влажную, облитую росой, землю. Сидела, низко опустив голову. Засохшим стеблем бурьяна чертила на земле невидимые узоры.

Обнял Арсений ее несмело, боялся, что вырвется, крикнет, обзовет обидным словом, как тогда, в поле; но когда заглянул в глаза, то увидал под черной тенью платка следы непросохших слез и улыбку.

— Эх, Анна, плюнь на все! Пойдем распишемся, и в коллектив к нам работенку ломать! До коих пор будешь горе-то мыкать?..



Засуха. По левадам косы перезванивают — кукушек вспугивают. Не косят траву добрые люди — под корень грызут. А за Авдюшиным логом коллективский трактор две косилки тягает. Пыльно. Горячо. Валы сена степь исконопатили. Солнце уже — в обед.

Бросил Арсений вилы, вытряхнул из рубахи колкую пыль и к стану пошел — умыться. А навстречу идет жена — Аннушка.

За версту угадал ее по походке быстрой — в раскачку. Несет харчи косарям.

Подошла. На щеках, нацелованных солнцем, румянец горит.

— Уморилась, Аннушка? От жилья до покоса, поди, верст тринадцать будет...

— Нет, не дюже. Ежли б не жара — легко можно и иттить.

Сидели рядом, под копною. Гладил Арсений руку ее зачерствевшей от вил рукою, бодрил улыбкой глаз. А вечером встретила Анна его у крыльца, за перила цепко держалась, словно боялась упасть. С трудом выдавила из побелевших губ:

— Письмо из Туречины... муж... Александр прислал... Домой обещается приехать Арсюша, родненький! Как же мне быть?!.

Кому счастье, а кому и счастьице... У качаловцев хлебец начисто погорел. По коричневому полю, от загара, колос от колоса — не слыхать девичьего голоса; да и то не колос, а так, сухобыл один коренастый и порожний; пустотой звенит под ветром. А у коллектива в клину, промеж качаловского леса и атаманского, над шляхом, вот там, где сосновая дощечка с надписью: «Показательная обработка», там пшеница-кубанка вымахала рослой лошадюке по пузо.

Кому какая линия выйдет. Качаловский богатей Ящуров имеет двенадцать пар быков, лошадей косяк, паровую молотилку и цепкие мышастые глазки, застрявшие посеред житнистой бороды. Еще по-первоначалу, с весны,

когда дождь спустился на качаловские поля, а коллективский хлеб самую малость крылом зацепил, тогда Ящуров покусывал кончик бороды и с ухмылочкой говорил:

— Бог, он правду видит... Какие в послушании к нему пребывают и чтут веру христову, тому и дождичек! Так-то-с. А вот коллективских коммунистов умыло! Больно прыткие! Да-с. Без бога, сказано, ни до порога!..

И прочее разное говорил. А, проезжая шляхом, повыше качаловских лесов, приостанавливал своего гладкого, пятнистого мерина и, указывая кнутом на дощечку, смеялся:

— Пока-за-а-тель-ная!.. Вот оно осенью покажет!..

Трактор ломил пахоту в колено, а качаловцы ковыряли кое-как по-дедовски. У качаловцев с десятины по восьми мер наскребли, а коллективцы по сорок сняли. Скрывая зависть, качаловцы смеялись:

— Сиротское, мол, не пропадает...

А только вышло так, что в конце июля, в праздник, пришли качаловцы с хуторского схода к коллективскому двору. Погомонили возле амбаров, распухших от хлеба, долго щупали трактор глазами и пальцами заскорузлыми; кряхтели. Уже перед уходом, дед Артем, — мужик из заправских хозяев, — отвел Арсения в сторону и, втыкая в ухо ему прокуренную бороду, забурчал:

— Просьбицу имеем к вам, Арсентий Андревич! Сделай божеску милость, примай нас гуртом в свой киликтив! Двадцать семей нас, которы беднеющи...

Поклонился старикам Арсений обрадованно.

— Добро пожаловать!..

Работы по горло в коллективе. Засушливый год. Недостача хлеба в окружных хуторах и станицах. По шляху, мимо Качаловки, толпами проходят старцы. Заворачивают и в Качаловку. Над расписными ставнями скрипят тягучие слабые голоса.

— Христа ради...

Распахнется обсиженное мухами окошко, глянет на выжженную солнцем улицу бородатая голова, буркнет:

— Идите добром, прохожие люди, а то собаками притравлю! Вон — киликтив, — у них и спрашивайте!.. Они власть этую постановили, они вас и кормить должны!..

Каждый день тянутся одиночками и толпами к смолистым обструганным воротам коллектива.

Арсений, осунувшийся и загорелый, отчаянно машет руками.

— Куда я вас дену? Везде полно! Ведь не прокормимся мы с вами!

Но Анна, при поддержке коллективских баб, дружно жмет на Арсения. Гудят потревоженным пчелиным роем бабы. Кончается

тем, что Арсений и мужики, отмахиваясь руками, уходят на гумно к молотилке, а бабы ведут гостей в длинный амбар, устроенный под жилье, и до вечера из окон просторной кухни рвется во двор грохот чугунов и звон посуды. Иногда на гумно, запыхавшись, прибегает кладовщик, дед Артем; сокрушенно отплевываясь, хрипит:

— Сладу с бабами нету!.. Сыщи ты, Арсений, на них какую-нибудь управу. Навели кучу старцев, ключи от кладовой у меня отняли!.. Обед стряпают, а пшена нагребли на восемь рылов больше!..

— Ляд с ними, дедушка! — улыбается Арсений.

Число коллективцев увеличилось вдвое. Прибавилось и число детей. Часть рабочих кончала обмолот, пахала под пары, — другая часть строила школу.

С раннего утра, до черной ночи, муравейником кишел коллективский двор.

В сарае пыхтела машина. Электрический фонарь лил на выметенный двор желтые волны света и кособокий месяц, повиснувший над Качаловкой, бледнел от электричества; он казался теперь зеленоватым, маленьким и ненужным.

Анна вторую неделю работала в очереди на скотном дворе. Вместе с шестью другими бабами выдаивала коров, отбивала телят и шла спать. Сон приходил не скоро. Долго

лежала, не смыкая глаз. Ворочалась. Прислушиваясь к ровному дыханью Арсения, думала о прошлом и о своей теперешней жизни в коллективе.

В пятницу с утра небо затянулось густой пеленой сизых туч. Погромыхивал гром. В леваде галдели грачи, шумели вербы; около дома в палисаднике дурманно пахло цветом собачьей бесилы, никла к земле остролистая крапива. За крышей сарая по небу ящерицей скользнула молния, бабахнул гром, дождь дробно затопотал по крыше, ветром скрутило во дворе бурый столбище пыли, хлопнула оторванная вихрем ставня, и по лужам, выбивая пенистые пузыри, заплясал буйный июльский ливень.

Анна, накинув платок, выбежала во двор снять сушившееся белье. Мокрый ветер метался по двору, хлестал в лицо. Добежала Анна до амбара и вдруг над самой головою гулко треснул гром, дробным грохотом рассыпался где-то за Качаловкой. Анна испуганно присела, по привычке, перекрестилась и зашептала слова молитвы; а когда привстала и обернулась назад, то увидала возле раскрытых ворот — подводу и человека в дождевом плаще. Человек смеялся, перегибаясь назад и ощеряя белые зубы. Сквозь ветер крикнул Анне:

— Ты что же, молодка, пророка Илью испугалась?

Анна подобрала юбку; снимая белье; крикнула сердито:

— Зубы-то нечего на продажу выставлять! Никто не купит!

Человек в дождевом плаще; оскользаясь; подошел к Анне, сказал с усмешкой:

— Ты, видно, сердитая, а серчаешь без толку!.. Разве от молнии крестом спасаются? Эх, ты, а еще в коллективе живешь!.. — сказал и снова съежил губы в усмешку.

И вот этой обидной усмешкой словно обжег Анну. Стыдно ей стало чего-то. Ответила, будто оправдываясь.

— Я тут недавно живу...

— Коли недавно, это еще ничего!

И пошел на крыльцо, помахивая снятым с головы картузом. Анна наспех посымала белье. Рысью в дом. Вошла в комнату. Арсений, сидевший рядом с человеком в плаще, сказал:

— Вот приехал к нам учитель из города. Будет учить всех, какие неграмотные.

Учитель глянул светлыми улыбчивыми глазами, а Анна вновь почувствовала стыдливую неловкость и, положив белье, вышла.

Вечером, перед ужином, Арсений сказал:

— Завтра, после обеда, иди грамоте учись. Я и тебя записал. Всего у нас неграмотных — двадцать душ. Заниматься будете в клубе.

— Мне совестно, Арсюша... В годах ведь я.

— Неграмотной-то совестнее быть!..

На этом разговор и кончился.

На другой день пошла Анна в клуб. За длинным столом сидят плотно. Дед Артем рот раззявил, а на лбу пот. Тетка Дарья отложила вязанье, тоже слушает.

Учитель говорит что-то и мелом рисует на школьной доске здоровенную букву.

Все покосились на скрип двери и опять слегли над столом. Тихонько прошла Анна к окну и села на край скамьи. Сначала было чудно, хоронила от других улыбку; на другой день слушала внимательней и уже упрямо выводила на листе бумаги кособокую и сутулую букву «В».

После — тянуло в клуб; спешила поскорее пообедать и чуть не рысью по коридору, с букварем подмышкой. За столом тесное стало сидеть. Прибавилось учеников. Дед Артем вполголоса ругается и, расставив локти, спихивает тетку Дарью на самый край. С обеда до сумерек в клубе — шепот и сдавленное гуденье голосов.

Под клуб заняли просторную в шесть окон комнату. У стены стоит стол, обитый красным ситцем, в углу — портреты и знамена с надписями про 1-е мая и про Октябрь.

Дед Артем все-таки выжил с скамьи тетку Дарью. Перешла она от стола на подоконник. В комнате жарко. В окна засматривает любопытное солнце. На стекле бьется и жужжит цветастая муха. Тишина. Дед Артем мусолит огрызок карандаша, пишет,

криво раззявив рот и смачивая слюной седую бороду. Стиснули Анну, толкают в бока, жарко дышат махорочным перегаром и луком. Рядом с нею Марфа. У Марфы четверо детишек. Знает она, что в детских яслях настоящий за ними надгляд, а поэтому спокойно ползает глазами по букварю, пот ядреными горошинами капает у нее с носа на верхнюю губу; иногда рукавом смахнет, а иногда и языком слижет, и снова шевелит губами, отмахиваясь от въедливых мух.

Чаще постукивает сердце у Анны. Нынче первый раз читает она по целому слову. Сложит одну букву, другую, третью, и из непонятных прежде черных загогулин образуется слово. Толкнула в бок соседку:

— Гляди, получается «хле-бо-роб».

Учитель стукнул по доске мелом.

— Тише! Про себя читайте! А ну, дедушка Артем, читани нам нынешний урок!

Дед ладонями крепко прижал к столу букварь, откашлялся.

— На-ша... ка-ша..

Марфа не утерпела, фыркнула в кулак. Дед злобно покосился на нее, начал снова.

— На-ша... ка-ша... хо-ро-ша...

Прочитал и руками развел.

— Скажи на милость, как оно выходит!

Переворачивая страницу, шепнул Марфе:

— Нет, бабонька, стар я становлюсь!.. молодым был, бывало, три посада цепом обмо-

лочу и в ус не дую, а теперя; видишь; прочел и уморился. Одышка душит, будто воз на гору вывез!

Втянулась Анна в работу. Понедельно работала то на кухне, то около скотины. На гумне постукивала молотилка, суетились рабочие. Арсений, присыпанный хлебными остями и пылью, клал скирд; в полдень прибежал на кухню, крикнул Анне:

— Ты поздоровше, Анна, иди, подсоби на гумно, а тебя пущай заменит Марфа Игнатова!

Помогая Анне влезть на скирд, шлепнул ее по спине, засмеялся.

— Ну, толстуха, успевай принимать!..

Сажал на вилы вороха обмолоченной духовитой соломы, напруживаясь, поднимал вверх. Анна принимала. Сначала по колена; потом по пояс засыпал ее Арсений соломой; глянул, смеясь, снизу вверх, крикнул:

— Даешь работу! Эй, ты, там, на скирду!.. раззяву ловишь?..

В постоянной работе глохла боль у Анны; давностью затягивалась. Перестала думать о том, как вернется первый муж и что будет дальше... Короткой зарницей мелькнуло лето... Осень ссутулилась возле коллективских ворот. Утрами, словно выпущенный табун жеребят, бежали детишки в школу.

И вот днем осенним, морозным и паутинистым, спозаранку как-то, взошел Александр — муж Анны — на крыльцо. Жестко

постукивая каблуками и отмахиваясь веткой орешника от собак, прошел по крыльцу, дверь отворил и стал у притолки, не здороваясь. Высокий, черный, в шинели приношенной. Сказал просто и коротко:

— Я пришел за тобой, Анна, собирайся!

Анна тяжело присела на сундук, переводя взгляд с Арсения на мужа, потом, с трудом ворочая губами, сказала:

— Не пойду!

— Не пойдешь? Посмотрим! — улыбнулся Александр криво, пожал плечами и вышел. Осторожно и плотно притворил за собою дверь.

За долгую и думную осень чаще хворала Анна, желтизной блекла, то ли от хворости, то ли от думок. В субботу вечером подоила она с бабами коров, телят загнала в закут, не досчиталась одного и пошла искать через леваду в степь, мимо ветряка, задремавшего в тумане. На старом кинутом кладбище, промеж обросших мохом крестов и затхлых осевших могил, пасся рябенький коллективский телок. Повернула Анна телка и, приглядываясь в густеющей темноте, погнала домой. До канавы дошла и села, прижимая руки к груди. Услыхала, как рядом с вызванивающим сердцем стукнул и завозился ребенок. Тяжело поднялась, пошла, улыбаясь краешками губ — устало и выжидательно.

До нага оголился сад. Под макушками тополей мечется ветер, скупо стелет под ноги

кумачевые листья. Дошла до беседки, увидала, как из тернов вышел кто-то и стал, перегородив дорогу.

— Анна, ты?

По голосу узнала Александра.

Горбатясь и растопыривая руки, Але ксандр подошел.

— Значит, забыла про то, как шесть лет вместе жили?.. Совесть-то всю в солдатках порастрепала? Эх, ты, хлюстанка!.. Коли людей не постыдилась, то хоть греха бы побоялась!..

Думала Анна, что вот сейчас повалит на земь, будет бить коваными солдатскими ботинками, как в то время, когда жили вместе. Но Александр неожиданно встал на колени, на сырую пахучую грязь, глухо сказал, протягивая руки вперед:

— Аннушка, пожалей!.. Я ли тебя не кохал? Я ли с тобой не няньчился, будто с малым дитем?.. Помнишь, бывало, мать родную словом черным обижал, когда зачинала она тебя ругать. Аль забыта наша любовь? А я шел из-за границев, одну думку имел: тебя увидать... А ты... Эх!..

Тяжело привстал, выпрямился и пошел по тернам, не оглядываясь.

— Нно, попомни мое слово!.. Не вернешься ко мне, не бросишь своего хахаля— грех на твоей душе будет...

Постояла Анна. В середке змеей жалость греется к Александру, с которым шесть лет жила под одной крышей...

С этой поры и пошло. Чаще задумывалась Анна. Чаще вспоминала слова Александра: «Коли людей не постыдилась, то хоть греха бы побоялась!» От этих слов груз тяжелый и страшный чувствовала Анна на плечах. Не людей стыдилась, а греха страшного боялась. Перед глазами открытый алтарь мерещился. Венец сдавливал голову, клещами горячими сжимал грудь. Не крепко еще впитала в себя Анна коллективские беседы — о ненужности старого церковного дурмана. Иной раз шевелился червяк сомнения и здорового раздумья. Но крепко еще опутан был рассудок — веригами старого, прошлого. Ворошила Анна в памяти это прошлое и сама не знала: почему не хотела вспоминать разладов с Александром, когда бил он ее смертным боем. Вспоминала только светлое, радостью окропленное. И от этого сердце набухало теплотой к Александру. А образ Арсения меркнул туманом, уходил куда-то назад... Не угадывал Арсений в ней прежнюю Анну, нелюдимей с ним стала.

Перегнувшись назад и выпятив живот, молчком ходила Анна по комнатам, баб сторонилась. Все чаще и чаще ловил на себе Арсений взгляд ее, задумчивый и горький...

Бабка-повитуха шлепнула рукой по скользкому тельцу, обмывая в цыбарке руки, крикнула за перегородку:

— Слышь, Арсений, куманенка баба родила!.. Поди, крестить не будешь?

Молча раздвинул Арсений ситцевый полог; из-под закровяненного одеяла глянула посинелая Анна на него ввалившимися глазами, зашипела, глотая слезы:

— Уйди, Арсюша!.. Глазыньки мои на свет не глядели бы!..

Отвернулась к стене и заплакала.

А у Арсения в горле застрял соленый ком. Волчьей хваткой вцепилось горе в сердце Арсения. Дня через два в клуню пошел Арсений домолачивать остатки проса. Провозились с двигателем до темного; пока пустили — смерклось. За темным ворохом тополей прижухла ночь. А из-за досчатой стены голос Анны:

— Арсений Андревич, выдь на час!..

Вышел. Увидал Анну, закутанную в шаль, и удивился:

— Ты чего, Нюра?

В голосе, чужом и хриплом, не узнал голоса жены:

— Арсений Андревич, пусти меня к мужу... Кличет он меня... Говорит, возьму с дитем... А ты лихом не помни и не держи меня! Все одно уйду... Грех я сделала против мужа!.. Совесть меня убивает...

— Вот тебе мой сказ, Анна: выкорми дитя — после иди... неволить не стану... А сына тебе не отдам! Я за Советскую власть четыре года сражался, израненный весь, а муж твой белогвардеец... от Врангеля пришел!.. Выростет мой парнишка, батрачить на него будет... Не хочу!..

Подошла Анна вплотную, жарко дохнула в лицо Арсению.

— Не дашь дитя?!.

— Нет!..

— Возьму и без спроса!

Злобно вспухло у Арсения сердце, в первый раз за все время житья с Анной, сжал кулак, ударить хотел ее, но сдержался; сказал глухо.

— Гляди, Анна!.. . . . .

С вечеру, после ужина, покормила Анна ребенка грудью, накинула платок и вышла во двор. Марфа, бежавшая на кухню, крикнула ей вслед:

— Приходи, Анна, на бабье собранье! Сычас зачнется!

Промолчала Анна, торопливо сбежала с крыльца, хотела пройти в сад, но горло перехватила судорога, из глаз брызнули слезы и трудно стало дышать.

Вполголоса завыла Анна словно по мертвому. Села на хлюпкую сырую землю и долго сидела, всхлипывая и качая головой. Жалко было ей уходить от привольного

житья в коллективе, от Арсения; знала, что у Александра не так придется гнуть горб, но в душе боялась страшного греха, за то, что жила с чужим не венчанная.

Встала, пошла в дом. На крыльце постояла, в последний раз глянула на коллективский двор, с сердцем сроднившийся, и, качаясь, пошла по коридору.

Арсений, угнувшись над лавкой, чинил хомут. Услышал, как скрипнула дверь, не поворачивая головы, узнал по шагам Анну. Прошла к люльке, переменила пеленки и молча легла спать. Лег и Арсений. Не спал, ворочался, слышал отрывистое дыхание жены и неровные удары сердца. В полночь уснул. Удушьем навалился сон. Не слыхал, как после первых кочетов кошкою слезла Анна с кровати, не зажигая огня, оделась, закутала в платок дитя и вышла, не скрипнув дверью.

Второй месяц живет Анна у Александра. С первых дней злобно ворчал свекор:

— Потаскуху привел... Не воняло в нашей хате комунячьим духом!.. Дармоедку с хахаленком принял!.. Гнал бы по шеям!..

Александр был ласков только сначала, а за днями, скрашенными лаской, пошли черной чередой дни непосильной работы. Запряг Анну муж в хозяйство, сам все чаще уходил на край поселка, к Лушке-самогонщице, приходил оттуда пьяный, блевотиной расписывал стены и пол. До рассвета просиживал,

развалясь на лавке, со сдвинутой на затылок папахой, гундосил, отрыгивая самогоном и самодовольно покручивая усы.

— Ты што собою представляешь, Анна? Одну необразованность, темноту! Мы-то повидали свет, в заграницах побывали, знаем благородное обхождение! По-настоящему, мне рази такую, как ты, в жены надо?. Пардон-с! За меня бы любая генеральская дочка пошла! Бывало, в офицерском клубе подаешь господам офицерам, а жена полковника... Эх, да что там и рассуждать! Все одно ты не поймешь. Красные—сволочи, побывали бы в заграницах, вот там действительно люди!

Засыпал тут же на лавке. А утром, проснувшись, сипло орал:

— Же-на!.. Сыми сапоги!.. Ты, подлая, должна меня уважать за то, што кормлю тебя с твоим щененком... Чего ж ты хнычешь?.. Плетку выпрашиваешь?.. Гляди, а то я скоро!..

Талый и пасмурный был февральский день.

В этот день в оконце Александровой хаты постучался квартальный.

— Хозяева дома?

— Заходи, дома.

Вошел, положил на сундук изгрызанный собаками костыль, достал из-за пазухи замасленный лист и бережно разгладил его на столе.

— На собрание, штоб в момент шли, С вашим братом иначе никак невозможно! вот под роспись подгоняю... Распишись фамилием!..

Подошла Анна к столу, расписалась на листе квартального. Муж удивленно взметнул бровями.

— Ты когда же грамоте выучилась?

— В коллективе...

Смолчал Александр, притворил за квартальным дверь, сказал строго:

— Я пойду, советские брехни послухаю; а ты, Анна, скотину убери! Да просяную солому не тягай, догляжу — морду побью!.. Завычку какую взяла... Зимы два месяца, а ты половину прикладка потравила!..

Посапливая, застегивал полушубок, смотрел из-под лохматых черных бровей скупым хозяйским взглядом... Анна помялась возле печки, боком подошла к мужу.

— Саня... Может, и я бы пошла?.. На собрание?

— Ку-да-а?..

— На собрание...

— Это зачем?

— Послушать.

Медленно ползет по щекам Александра густая краска, дрожат концы губ, а правая рука тянется к стенке, лапает плеть, висящую над кроватью.

— Ты што же, сука подзаборная, мужа на весь поселок острамить хочешь?!. Ты когда же выкинешь из головы комунячьи ухватки?

Скрипнул зубами и, сжимая кулаки, шагнул к Анне.

— Ты у меня... Я тебя, распротак твою мать!.. Што б не пикнула!..

— Санюшка!.. Бабы, ить, ходют на собрание!..

— Молчи, стервюга! Ты у меня моду свою не заводи! Ходят на собрание таковские, у каких мужьев нету, какие хвосты по ветру трепают. Ишь, што выдумала: на собрание!

Иглою кольнула Анну обида. Побледнела, сказала хриплым, дрогнувшим голосом.

— Ты меня и за человека не считаешь? А в коллективе...

Взревел Александр:

— Ты со своим ублюдком лопаешь не коллективский хлеб, а мой!.. На моей шее сидишь, меня и слухай!

Но Анна, чувствуя как бледнеют ее щеки, а кровь, убегая к сердцу, зноем полощет жилы, выговорила сквозь стиснутые зубы:

— Ты сам меня уговаривал, жалеть сулил! Где ж твои посулы?..

— А вот где! — прохрипел Александр, и, размахнувшись, ударил ее кулаком в грудь. Анна качнулась, вскрикнула, хотела поймать руку мужа, но тот, хрипло матюкаясь, ухватил ее за волосы, ногою с силой ударил в живот. Грузно упала Анна на пол, раскрытым ртом ловила воздух и задыхалась, задыхалась от жгучего удушья. И уже равнодушно ощущала тупую боль побоев, и словно сквозь редкую пленку тумана,

видела над собою багровое перекошенное лицо мужа.

— Вот, на тебе!.. Не хочешь?.. Ага, шкуреха!.. Ты у меня запляшешь на иные лады!.. Получай!.. Получай!..

С каждым ударом, падавшим на недвижное, согнутое на полу, тело жены, сильнее злобою закипал Александр. Бил размеренно, старался попасть в живот ногою, в грудь, в закрытое руками лицо. Бил до тех пор, пока потом взмокла рубаха и устали ноги. Потом надел папаху, сплюнул и вышел во двор, крепко хлопнув дверью.

На улице, возле ворот, постоял, подумал и через поваленные плетни соседского огорода побрел к Лушке-самогонщице.

Анна пролежала на полу до вечера. Перед сумерками в горницу вошел свекор, буркнул, трогая ее носком сапога.

— Ну, вставай!.. Знаем и без этого, што притворяться горазда... Чуть тронул пальцем муж, а она уж и вытянулась... Побеги в Совет, пожалуйся... Вставай, што ли!?. Скотину-то кто за тебя убирать станет?.. Аль работника нанять прикажешь?

Пошел в кухню, шаркая ногами по земляному полу.

— Жрать она за четверых управляется, а работать... Эх, совесть-то у людей... Ты ей плюй в глаза,— скажет — божья роса...

Оделся свекор, пошел убирать скотину. В люльке завозился, заплакал ребенок. Анна очнулась, привстала на колени, выплюнула из разбитого рта песок, смоченный слюной и кровью, сказала трудно шевеля губами:

— Головонька ты моя бедная!..

В полночь, на степном гумне, близ Авдюшина лога, сгорели два скирда коллективского сена. После первых кочетов, к Арсению в одних исподниках прибег из флигеля чеботарь Митроха, загремел в измалеванное морозом окно:

— Подымайсь!.. Сено горит!.. Поджог!..

Не одеваясь, выскочил Арсений на крыльцо, глянул через чубатые вишняки в степь и, зуб не разжимая, крепко выругался. За бугром, над полотнищем голубого снега, до самого месяца вскидывался багровый столб. Дед Артем вывел из конюшни кобыленку, обратал ее, животом навалился на острую хребтину, кряхтя, перекинул ноги и охлюпкой поскакал к пожару. Проезжая мимо крыльца, крикнул Арсению:

— По злобе это! Чадушка моя, скотинка... С голоду теперь она погибнет!.. Завязывай хвосты кругом и выгоняй со двора...

Зарею пошел Арсений на пожарище. Вокруг вороха дымной золы курилась раздетая земля, доверчиво высматривали зеленые былки. Присел Арсений на корточки, вгляделся: на запотевшей земле, на талом снегу

выпегли следы кованых английских сапог. Черными рябинами чернели ямки, вдавленные шляпками гвоздей. Закурил Арсений, вглядываясь в стежку, завязанную по степи путаными узлами, зашагал к Качаловке. Следы завивались петлями, пропадали; оскользаясь, скребли ледок над буераком, и по людскому следу, как по звериному, уверенно, молча, шел Арсений. У крайнего гумна, у плетня Александрова, пропали следы... Крякнул Арсений, перекинул отцовскую централку с плеча на плечо, направился по дороге к коллективу.

Пришел Александр домой перед светом. Упал на кровать, прохрипел:

— Теперь, гады, будут знать!.. Голоса меня лишили... белогвардеец!.. Ну, а теперя попляшите без сена! Сено-то ваше тю-тю!.. Красный кочет на нем потоптался!.. Анна, са-по-ги сыми!..

Уснул, храпя и смачивая подушку клейкими слюнями. Поняла Анна, что Александр поджог коллективское сено. И сразу сердце у нее налилось жгучей злобой к мужу. Вспомнила, как работала она на покосе, вспомнила, сколько трудов положили коллективцы, чтобы набрать на год корму.

Бешеным валом забурлили в голове жгучие мысли. Встали перед глазами два человека: один — работяга, ведущий за собой к иной, лучшей жизни, тихий и ласковый; другой — пьяный, блевотный и злоб-

ный; не пощадивший чужого труда, окропленного горячим мужичьим потом. Встали перед глазами две жизни: здесь, у Александра, и там, в коллективе, обе разные, ничем друг на друга не похожие. В последний раз царапнула за сердце мертвая хватка прошлого. И, хотя не знала еще толком Анна, что будет дальше, но могучим толчком выбросила из головы и от сердца это старое и грязное прошлое.



Не сдержавшись, подошла к мужу, плюнула в багровое — опухшее от самогонки — лицо и, схватив ребенка, выбежала во двор.

Постояла, прислушиваясь к торопливому выстукиванию сердца.

Прижимая к груди ребенка, спотыкаясь, зашагала Анна по проулку к качаловскому пруду, синевшему грязной голубизной льда.

Подошла к проруби. Черную воду затянуло незастаревшим ледком, около проруби

сметенные в кучу осколки льда и примерзший бычий помет. Прижимая к груди ребенка, глянула Анна в черную раззявленную пасть воды; стала на колени, но вдруг неожиданно и глухо под пеленками и одеялом заплакал ребенок.

Стыд и страх горячей волною плеснулся Анне в лицо. Вскочила и, не оглядываясь, побежала к коллективу. Вот они, тесаные, пожелтевшие за зиму ворота, знакомый родной гул пыхтящей в сарае машины.

Качаясь, вбежала по крыльцу; скрипнули двери коридора, сердце, наперебой с ногами, отстукивает шаги-удары.

Постучала в третью дверь налево... Отворила... Глянула мутнеющими глазами Анна, увидала пожелтевшего, худого Арсения и обессиленно прислонилась к косяку.

— Арсюша!.. Не прогоняй!.. Теперь я все знаю!..

Обнял ее Арсений, шепнул, улыбаясь:

— Брось, Анна! Кто старое вспомянет, — глаз вон!..

Взял из рук ребенка, распеленал и положил в осиротевшую за два месяца люльку.

Сбегал на кухню за кипяченым молоком и, целуя пухлые ноженки сына и мокрое от слез лицо Анны, говорил:

— Я поэтому и не шел за тобой... Знал, что старое не долго побродит в тебе... Знал, что ты вернешься в коллектив... Вот, видишь, на мое и вышло!

---

6 коп.

